Дмитрий Емец

Бабушка Наташа

Часть сборника
Трава была зеленее, или
Писатели о своем детстве

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Я сижу за большим столом на кухне, раздвинув в хаосе случайных предметов пространство по размеру тетради с пружинным переплетом. Я уже много лет не писал ничего от руки, но сейчас ноутбук разряжен и, возможно, что и к лучшему…»

- Дмитрий Емец
  - ○

Дмитрий Емец
Бабушка Наташа

Я сижу за большим столом на кухне, раздвинув в хаосе случайных предметов пространство по размеру тетради с пружинным переплетом. Я уже много лет не писал ничего от руки, но сейчас ноутбук разряжен и, возможно, что и к лучшему. Рядом стоит керосиновая лампа. Стеклянный колпак у нее новый, а сама лампа старая. Мы купили ее на барахолке. Самое сложное – расположить лампу так, чтобы тени от руки и ручки, мешая, не прыгали по листу бумаги, а это происходит то и дело, потому что огонек лампы то растет, то пытается совсем спрятаться. Это даже хорошо, что этой зимой в Крыму электричество дают с перебоями. Ощущаешь собирающую сущность живого света. К керосиновой лампе со всего темного дома сходятся дети, у которых сели батареи в их гаджетах. Смотрят на огонь. Постепенно хаос их движений замедляется, и они начинают читать или слушать аудиокниги. За эти несколько дней мы перечитали и переслушали больше, чем за несколько предшествующих месяцев.

Наверное, и этот рассказ о запоздалой благодарности не родился бы, если бы не свет керосиновой лампы, не качающиеся темные деревья за окном и не вой ветра. Я давно уже подбирался к этому рассказу, делал какие-то заметки, но все время откладывал, предчувствуя большое сердечное напряжение. Напряжение памяти, честности, совести – напряжение в основе своей неуютное. И хорошо, что сейчас передо мной тетрадь. Когда пишешь рукой, не видишь уже написанных строк, а существуешь в том единственном предложении, по которому сейчас скользит рука. Это делает прозу бессюжетной, чуть рваной, но и более жизненной, поскольку и жизнь никогда не имеет жесткого сюжета. Скорее, она текуча, как река. Мы видим только строку сегодняшнего дня, часа, минуты.

Это будет рассказ о бабушке Наташе и моем детстве. И еще, наверное, о слове. Детство – это время, когда в человека непрерывно высеваются зерна слов. Они приходят из книг, из устных рассказов, из случайных, ни к тебе обращенных диалогов, которые ты невольно, но с острым интересом подслушиваешь. Тебя и за человека-то еще особенно не считают, так, кулек на санках. Кто же думает, что этот кулек слушает? И слушает жадно, потому что чувствует: эти диалоги имеют огромную ценность, поскольку обращены не к тебе. Тут и интонации другие, и врут, должно быть, поменьше.

В самом упрощенном виде жизнь – это путь от эгоизма к альтруизму. Детство, как мне сейчас представляется, – пора чистого эгоизма, когда пожираешь все блага мира, ничего не давая взамен. Считаешь, что так и должно быть. Дай! Дай! Дай! Все подарки мне, все внимание мне, вся радость жизни мне! Но потом взрослеешь и приходит пора благодарности, но когда она приходит, лично сказать «Спасибо!» уже невозможно. Но все же попытаюсь.

* * *

Когда родилась моя мама Таня, бабушке Наташе было 34 года. Мама родилась вне брака, когда бабушка была главным инженером лаборатории Главметиза в Запорожье. Это была химическая лаборатория. В подчинении у бабушки было сорок «девочек». Она называла их «мои девочки», и меня это удивляло, потому что на групповых фотографиях это были упитанные взрослые женщины с серьезными лицами. У многих были уже внуки.

До войны бабушка Наташа окончила Металлургический институт по специальности инженер-металлург. В феврале 1941 года начала работать помощником мастера на Миньярском заводе Главметиза в цехе горячей прокатки, а с мая сорок первого – в отделе технического контроля. Когда началась война, завод стал выпускать танки, и бабушка была переведена в болтовый цех начальником участка.

Эти подробности и названия я узнал совсем недавно, когда листал трудовую книжку, но еще из детства во мне живет страх из каких-то случайных бабушкиных рассказов. Страх, что танк поломается, не доехав до фронта. Я запомнил многократно повторявшуюся фразу: «Танк не должен встать». Бабушка по инерции боялась этого и много лет спустя, когда и танки эти давно уже переплавили.

Никаких военных воспоминаний бабушка не оставила. Про войну говорить не любила. Только в трудовой книжке, там, где «Награды и поощрения», осталась запись:

«5 ноября 1942 года – Миньярский завод «Главметиз».

Во исполнение приказа Народного комиссара Черной Металлургии за № 248 от 13.10.1942 года за выполнение производственной программы и освоения качественных сталей и сплава премируется Н. С. Шубина отрезом на платье».

В сорок третьем году бабушка вышла замуж и по месту службы мужа (о котором известно только то, что его звали Арсений, потому что бабушка о нем никогда не рассказывала) уехала во Владивосток. Арсений был инженером-подводником. Во Владивостоке бабушка работала технологом на военном заводе им. Ворошилова.

В ноябре сорок третьего года Арсений погиб, а в январе сорок четвертого у бабушки родился мальчик, Валерий. Он умер от пневмонии, когда ему было полгода. В молитвах я называю его «младенец Валерий», и только сейчас, буквально в эту секунду, я понял, что младенец Валерий – мой дядя.

Когда война закончилась, бабушку по телеграмме замнаркомчермета Бычкова перевели в Сталино, так тогда назывался Донецк. На освобожденных территориях не хватало инженеров. Из Донецка бабушку отправили в Запорожье старшим инженером лаборатории Главметиза.

Запорожский метизный завод я хорошо запомнил. Наш дом, в котором я жил первые два с половиной года жизни, а потом наездами каждое лето до самой школы, примыкал к стене этого завода. Огромная глухая стена, вся закопченная. Каждый день в определенный час завод начинал ужасно вонять. Это значило, что пошел какой-то химический процесс. Бабушка захлопывала форточку и говорила: «О-о! Сегодня у нас что? Четверг? Значит, это до завтрашнего утра!»

В пятницу пахло уже как-то иначе, в понедельник и среду вонь была чем-то похожа. Возможно, какие-то очистные сооружения и существовали, но на вони это почти не сказывалось. Прямо в нашем дворе, под стеной завода, был детский сад. Мы там играли в беседке. Туда приходил какой-то слабоумный и спускал с себя штаны. Помню, что нам это было неинтересно и ужасно злило, что он отвлекает от игры. Взрослые его прогоняли.

Но это было уже после моего рождения, то есть почти тридцать лет спустя. В Запорожье бабушка познакомилась с Георгием Михайловичем Гребенюком, человеком исключительно красивым, улыбчивым, голубоглазым. Я никогда не видел его, как не видел и второго деда, Ивана, но на фотографиях у него очень умное, тонкое, гибкое лицо. С войны он вернулся старшим лейтенантом и преподавал в Запорожском институте физику твердых тел, причем на украинском. Даже учебник по физике твердых тел написал, и тоже на украинском. Я как-то пытался его прочитать, но не понял ни слова. Георгий Михайлович был потомком украинско-польских дворян, в близком родстве с Панасом Мирным, с художником Головко, с какими-то другими украинскими поэтами и художниками. В семье у них все

замечательно пели, музицировали, писали рассказы, стихи. По-русски Георгий Михайлович говорил хорошо, но нарочито переходил на украинский и вообще всячески подчеркивал, что он украинец.

У дедушки Георгия была своя история, очень драматическая. До войны у него были жена и дочь. Но когда он вернулся с фронта, то не нашел ни жены, ни дочери. Он знал, что перед оккупацией Украины они успели эвакуироваться, но куда? Они не знали номера его воинской части, он понятия не имел, в каком городе они оказались и где находятся. И поэтому они не переписывались. И вот 1945 год заканчивается, потом 46-й, 47-й. Дедушка уже давно вернулся с фронта, а ни жены, ни дочери нет. Ни вестей, ни писем – ничего.

Дедушка Георгий сходится с бабушкой Наташей, и тут буквально за пару месяцев до рождения мамы возвращаются жена дедушки и его довоенная дочь. Оказалось, что до 1948 года жена размышляла, стоит ли ей возвращаться, потому что не знала, жив ли муж, уцелел ли дом, и вообще колебалась. И вообще в эвакуации все же они как-то устроились. И вот только к 1948 году смогла с кем-то списаться и вернулась.

Я, скорее, угадываю, чем знаю, что дедушка Георгий, несмотря на свои вечные словесные победы над москалями и еще одним древним народом, человеком был, скорее, мягким, может быть, даже где-то нерешительным. Первое время он заметался было между двумя женщинами, но заметался как-то пассивно, с внутренней установкой: «Пусть меня заберет та, которой я больше нужен».

Наверное, бабушка Наташа смогла бы его оставить, если бы захотела. В конце концов, у нее был грудной ребенок, да и сами отношения более свежие. Однако бабушка Наташа как-то сразу заняла непримиримую позицию и развернула дедушку Георгия к себе задом, к лесу передом. И дедушка Георгий вернулся к жене, которая на тот момент проявила большую гибкость. Жена же потребовала, чтобы он ни новой дочери своей никогда не видел, ни бабушки Наташи. И, видимо, дедушка Георгий к этому не особенно и стремился, побаиваясь одновременно и жены, и бабушки Наташи, в которой угадывал силу куда более взрывную и опасную, чем в своей жене.

Характер у бабушки Наташи, и вообще у всех Шубиных (она была старшей из шестерых детей) был огненный. Они все были среднего роста, ладные, сильные, взрывные. Своему брату Николаю бабушка Наташа однажды палкой так дала по голове, что у него до старости был шрам на лбу. Я никогда не видел Николая, знаю, что он работал потом машинистом тепловоза. Но

я видел другого брата – дядю Шуру. Очень ловкий и сильный, он так блестяще ходил на руках и делал сальто, что циркачи проезжего цирка предлагали ему сбежать из дома и уехать с ними. И он всерьез собирался это осуществить, но тут началась война. Мама бабушки Наташи, Татьяна, оказалась в Сталинграде вместе с двумя младшими детьми – дядей Шурой и тетей Таей. Было это во время самых ужасных боев. Они никуда оттуда не уехали, потому что прадедушка Степан был начальником железнодорожной станции в Сталинграде. Дяде Шуре было лет четырнадцать-пятнадцать, тете Тае – лет двенадцать. Сталинград переходил из рук в руки много раз. Немцы забили прабабушку насмерть за то, что она ходила вдоль железной дороги – собирала мазут, чтобы обогреть детей. А для немцев это был непорядок: ходить вдоль железных дорог нельзя.

Тетя Тая и дядя Шура оглохли от взрывов. Тетя Тая потом всю жизнь ходила со слуховым аппаратом. А дядя Шура как-то отлежался. Он тоже потерял слух, но уже через много лет. А тогда после смерти мамы он приписал себе год и пошел в танковое училище. Успел еще повоевать, был ранен. О своем ранении осколком и еще одной контузии он рассказывал очень просто: «Ну наступаем мы… Стою я возле окопа, а тут раз – словно стукнуло меня. Смотрю: кровь из ушей. Потом несколько дней не слышал, а потом стал слышать помаленьку».

Никакой помощи бабушке Наташе в воспитании мамы дедушка Георгий не оказывал, да она, в общем, в ней и не нуждалась. Зарплата у нее была высокая, и с ними тогда жила уже ее тетя – бабушка Паша, приехавшая из Ряжска. Женщина яркая, острая на язык, давно вдовая. Замужем она была где-то полгода, а потом мужа взяли на фронт, и он умер от тифа. Это было еще в Гражданскую войну. Еще у бабы Паши был брат Ваня. Она его вся время оплакивала, даже больше мужа. Этот Ваня был очень талантливый, весельчак, баянист, стихи писал. Его взяли на фронт, и в 1915 году они строили какой-то мост. Он нес по мосту бревно. Тут его кто-то толкнул, он упал, на него упало это бревно, и он утонул. Мама бабы Паши, моя прапрабабка, сошла от горя с ума.

Пока бабушка работала, баба Паша сидела с мамой как нянька, а потом еще даже некоторое время со мной успела понянчиться, хотя тогда уже у бабушки Паши открылись возрастные странности. Она, а было ей уже за восемьдесят, вся время пыталась куда-то уйти. Сворачивала матрас, спускала из окна веревку, собирала в мешок вещи. Ночью мы с бабушкой Наташей закрывались от нее на палку, потому что бабушка боялась, что она и меня куда-то уведет.

Но это было уже намного позже. Маму Таню вырастили бабушка Наташа и бабушка Паша. Своего же папу Георгия мама увидела только в шестнадцать лет, в день своего рождения. Он подарил ей наручные часики, рассказал о древнем панском роде и огорчился, что мама не умеет говорить по-украински. А как уметь? Бабушка Паша и бабушка Наташа были из Ряжска, по-украински не знали. Мама же его в школе принципиально не учила, настолько не учила, что доводила учительницу до бешенства. Говорила ей: «Мне ваш язык не нужен!», а та, дрожа, кричала: «Чий хлиб иси?»

Потом дедушка Георгий опять скрылся на много лет. Я хоть и сложно отношусь к дедушке, но почему-то хорошо его понимаю. Чувствую в себе оттиск его умной, одаренной, ищущей, упрямой и одновременно легко уступающей души.

Тут можно немного ускорить время. В Запорожье бабушке Наташе не нравилось. Она училась и работала в Сибири, где народ был широкий и щедрый, а тут душное Запорожье, где все разговоры вертятся вокруг «у кого гроши е, а у кого нема». Причем бабушке Наташе завидовали, у нее гроши были, а вот жить она по местным меркам не умела. Почему-то все, кто плакался, ухитрялись иметь и дом, и дачу, а потом и «Москвич», а бабушка как-то незаметно все протрачивала, хотя и мама была у нее всегда одета как картинка и вообще в жизни присутствовала легкая незапорожская буржуазность. Борщ, например, не готовился на неделю вперед в ведерной кастрюле, занимавшей весь холодильник, на балконе не держали кроликов, покупали зачем-то книги, ходили в театр, ездили отдыхать на Кавказ – и делали другие какие-то вещи, которые мог позволить себе только глупый русак, но никак не бережливый хохол.

Но дело как-то незаметно двигалось к пенсии, и ясно было, что из Запорожья бабушке не вырваться. Свое же желание она как-то незаметно, потому что едва ли это были системные лекции, она передала маме. Мама окончила с золотой медалью школу, затем Машиностроительный институт, и вообще всегда была из тех отличниц, которые поднимают руку за мгновение до того, как учительница задаст вопрос. Еще учась в Машиностроительном институте, мама стала работать в институтской литературной газете, выходившей тиражом экземпляров в триста. Писала статьи, стихи, рассказы, поэмы, в специально пошитых леопардовых штанах ездила с творческими выступлениями по домам культуры и ощущала себя кем угодно, но не будущим специалистом по щитам высокого напряжения. Где-то на этих концертах мама познакомилась с моим папой Александром, который учился в том же институте после техникума.

Папа же был мотор великий, который получал от мамы великие задания-программы и воплощал их в жизнь. С бензиновыми выхлопами, с шумом, с эмоциями, но всегда воплощал. Причем в процессе решения суперзадач папа всегда шел дальше мамы, потому что когда начинаешь углубляться в проблему, то понимаешь, что она стыкуется с какими-то соседними проблемами, что-то надо преодолевать, что-то обходить, что-то продавливать. Первой гигантской задачей папы было вырваться из Запорожья в большой мир, и желательно в Москву. Только там были журналы, издательства, телевидение. Только там можно было печататься, издавать стихи, учиться в Литинституте.

Но как вырваться? Без денег, без квартиры, имея двадцать с небольшим лет за плечами, с необходимостью работать по распределению после окончания Машиностроительного института – это было чудовищно сложно. Но папа нашел лазейку.

Он стал десятками слать в Москву в Институт Арктики заказные письма с просьбой взять его работать в Арктику радиоинженером. На его письма не отвечали. Тогда он просто поехал в этот институт, и кто-то, сжалившись, объяснил ему, что ты, мол, неправильно пишешь. В Арктику тебе не пробиться. Туда очередь из радиоинженеров на десятки лет вперед. Ты просись на Камчатку. Там тоже север, но устроиться проще.

Папа стал проситься на Камчатку, и его распределили инженером на метеорологический локатор в Елизово. Это аэропорт в пригороде Петропавловска-Камчатского. Там же, в аэропорту, ему дали и комнату. Для запорожского вуза это было что-то невероятное. Там эту бумажку с направлением чуть ли не на свет рассматривали, потому что распределяли из Запорожья обычно не дальше Днепропетровска, а то и в какое-нибудь село начальником бригады электриков. Никаких Камчаток сроду никогда не было.

Папа улетел, а следом за ним улетела и мама. Свадьбу праздновали уже на Камчатке. Спустя год мама вернулась в Запорожье и родила меня. Причем родила очень интересно. Ехала в троллейбусе в самом конце салона, а вся дорога была в ямах. И вот мама подумала: что будет, если я буду прыгать всякий раз, как троллейбус подскакивает на колдобинах? Это же будет, наверное, что-нибудь интересное! И так ее эта мысль захватила, что она подпрыгнула и поняла, что улетела высоко-высоко. А потом она опустилась и поняла, что рожает. Так я и появился на свет семимесячным.

В роддоме я провел месяца два и еще месяца два в больнице, потому что меня чем-то заразили. Выхаживали меня бабушка

Наташа и папа. Папа сдавал свою кровь для переливаний и все время бегал с банкой по разным кормящим женщинам, потому что у мамы молока не было, а использовать порошки почему-то не хотели. Так что у меня, наверное, добрый десяток молочных матерей.

Потом, когда мне было месяцев пять, родители оставили меня бабушке Наташе, а сами уехали на Камчатку. Меня брать не стали, потому что на Камчатке холодно, а я был дохлый. Разумеется, они все время давали бабушке советы, как меня воспитывать, чем кормить, и требовали каждую неделю подробных писем. В следующий раз я увидел родителей в два с половиной года, хотя, возможно, они и появлялись в промежутке на месяц или два, потому что северные отпуска были длинные. Мама же тогда уже училась в Литинституте в Москве и летала в Москву на сессии, а оттуда уже заскакивала в Запорожье.

И бабушка писала письма подробнейшие – на полтетради, с цифрами и графиками, словно это был новый способ переплавки чугуна или на худой конец диаграмма набора веса свинками. Из-за своей недоношенности я в первый год жизни был болезненный. На большинстве фотографий первых месяцев жизни я похож на сдохшего цыпленка. Потом же бабушка с перепугу, вкармливая в меня по три завтрака и по два обеда, раскормила меня так, что каждая нога у меня стала как окорок и коляски меня не держали. Я их все ломал. Но бабушка все равно продолжала считать мое здоровье слабым, и я тоже его таким долго считал, потому что на мир смотрел исключительно глазами бабушки. Я был маленький такой правильный старичок, всем читал лекции и вообще говорил много, как попугай.

Хотя, помню, что я и правда часто болел. То ухо, то зубы, то еще что-то. Может быть, болел потому, что бабушке нравилось меня лечить. До сих пор помню фамилию запорожского детского врача: Колпакова. Бабушка поминала ее по сто раз на дню: «Колпакова сказала… Колпакова выписала… Колпакова, дура, прописала ему антибиотики, и у него почернели молочные зубы… Открой рот! Закрой рот! Я б ее убила!»

Колпакову то боготворили, то ненавидели, то делали ей подарки, то тотчас проклинали. Причем саму Колпакову я почему-то совершенно не запомнил. Не знаю даже, была ли она молодая или старая. Она ухитрилась сохраниться в памяти абсолютной невидимкой. Я помню только залитое солнцем потрескавшееся крыльцо – видимо, крыльцо поликлиники. И рядом аллею с катальпами, на которых висели длинные тонкие кинжалы-стручки. Я срывал их и засовывал под ремень, представляя, что это шпага. Много-много длинных зеленых

кинжалов, сочившихся клейким соком и очень острых на конце.

Когда бабушка меня раскормила, Колпакова ей сказала, что меня надо много прогуливать пешком, и бабушка прогуливала меня километров по десять, без коляски. Сперва от скамейки к скамейке, потом я и сам уже бегал, постепенно входя во вкус движения. Помню длинный спуск к Днепру, который заканчивался пляжем с очень белым и очень мелким песком. Вначале песок – такой раскаленный, что босиком было не наступить, потом полоса деревьев, опять песок и заканчивалось все двумя-тремя покосившимися грибками пляжа. Там, прямо в воду прибоя, я воткнул однажды сломанную веточку ивы, и бабушка убедила меня, что я посадил дерево. И мы потом целый год, наверное, ходили смотреть эту иву. Это можно было делать безопасно, потому что я не помнил уже места, куда закопал ту ветку. И такой сильной была моя гордость от этого посаженного дерева, что я потом, когда вырос, посадил, наверное, деревьев двести: сосен, берез, яблонь, рябин, и это все эхо от той закопанной веточки.

Самой определяющей фигурой моего раннего детства была бабушка. Она занимала, наверное, процентов девяносто моего внутреннего мира.

В детстве я мало того что все время болтал без умолку, но был и великий пожиратель слов. Я пожирал их тысячами, миллионами. Постоянно заставлял бабушку читать вслух – днем, ночью, вообще всегда. Телевизор у нас был, но почему-то я не помню его включенным. Проигрыватель, на котором я до дыр заслушивал сотни пластинок, появился уже позже, на Камчатке. Пока же из голосовых устройств в моем распоряжении была только верная бабушка Наташа. И я тиранил ее по полной.

Бабушка читала мне непрерывно, хотя, возможно, и несколько принудительно. Пытаясь убаюкать меня и усыпить, она читала мне все подряд. Вначале это были страшные сказки Афанасьева. Не те выборочные, добренькие, сильно адаптированные сказочки, которые все знают, а полное собрание из многотомника, где медведь на липовой деревяшке приходил к мужику, варившему его ногу, которую он отрубил у спящего зверя топором, и говорил: «Отдай мою ногу!», а тот говорил: «Не отдам!» И продолжал варить. Медведь раскачивал избу и опять требовал свою ногу, и опять жадный мужик отвечал: «Не отдам!» И так почти каждая сказка.

Я ужасно боялся этих сказок и даже самого многотомника, мрачного, в черной какой-то обложке, но постоянно требовал: «Еще! Еще!» Бабушка читала два часа, три, четыре… Была уже глубокая ночь. Бабушка сама засыпала, но я ее расталкивал и

требовал: «Дальше!»

После Афанасьева возникла книжная пауза. Мы некоторое время выбирали между переделанными арабскими сказками, изданными в Харькове, куда были как-то очень умело закомпонованы мальчики Тарасик и Богданчик, и справочником по химии и предпочли химический справочник. От этого справочника бабушка быстро засыпала, но я и здесь требовал: «Дальше! Что дальше?»

– Дальше кислоты и щелочи! – зевая, отвечала бабушка.

– Это которые у нас в шкафу?

– Да, – опять зевала бабушка, а я бежал в коридор.

У нас в коридоре стоял самодельный шкаф, очень вместительный, и он весь от пола до потолка был набит желтыми, йодистого цвета, банками с химикатами. Это были специальные банки для химреактивов, с очень широким горлом, куда легко могла пройти рука в перчатке. На каждой баночке бумажка, а на бумажке бабушкиным крупным почерком – какая-нибудь формула. Чего у нас только не было! И серная кислота, и азотная, и марганца целая неподъемная банка. Мне очень нравилось взять несколько крупинок марганца и растворять их в воде. Жалко, что ничего этого не уцелело. Утратилось при переездах. Сейчас бы это было настоящее сокровище.

Еще я все время требовал у бабушки играть со мной. Особенно я любил кубики. У меня их было несколько наборов. Я строил из них целые города, а бабушка терпеливо повторяла то, что я просил ее повторить. Обычно это было что-то однообразное.

– Кто построил такой прекрасный замок? – повторяла бабушка по моему шепоту.

– Его построил великий архитектор Митя! – скромно отвечал я. – А теперь спроси: кто построил такой чудесный памятник?

– Кто построил такой чудесный памятник? – говорила бабушка.

– Его построил архитектор Митя!.. А кому этот памятник, спроси?

– А кому этот памятник?

Памятник, конечно, был все тому же великому архитектору, но это неважно. Главное, что в эту игру я любил играть только с бабушкой Наташей. Папа и мама или переиначивали слова, или добавляли какую-то отсебятину, или вообще начинали сомневаться, что мой город так уж хорош. Для меня же было важно, чтобы все слова были сказаны именно так, как я их придумал. И ни одно слово не пропущено.

Бабушка же единственная повторяла все без пропусков и купюр.

Когда бабушка куда-то уходила – а она после выхода на пенсию работала в Союзпечати через дорогу, – я оставался с бабушкой Пашей, а когда бабушка Паша совсем зачудила, с кем-нибудь из бабушкиных подруг. Помню всех подруг бабушки. Одна, Таня Алдошина, стала главной в лаборатории Главметиза, когда бабушка ушла на пенсию, а до этого была ее заместителем. Большая такая, полная, чем-то похожая на слона. Не огромностью даже, а всем лицом. У нее и нос был как у слона, и уши как у слона, и говорила она так, как в моем представлении мог говорить превратившийся в человека слон. У нее дома в серванте стояла фигура-графин – какой-то псевдоиндийский божок-монстр, зловещий продукт воображения. Помню, я ужасно боялся этой фигуры. Она большая такая была, с трехлитровую банку.

Таня Алдошина была сама правильность. Она готовила блинчики десяти видов, множество салатов, мясо в ста вариантах, и вообще культ еды достигал у нее священнодействия. От этого и дочь, и муж у Тани были тоже очень немелкие.

Полной противоположностью Тани была другая подруга бабушки – хлопотливая, бестолковая, даже где-то блаженненькая Надя Сорона. Она жила как птичка: улетела, прилетела, опять куда-то унеслась. Сухонькая, маленькая. Говорила она всегда быстро, горячо и постоянно попадала в комические истории. Например, когда у нее возникало настроение полечиться, она влетала в аптеку и требовала таблеток на рубль. Ее спрашивали: «Каких?» – она отвечала: «Неважно! Но на рубль!»

И ей вполне серьезно продавали таблетки ровно на рубль, копейка в копейку.

Еще были Василий Иванович и Нина Константиновна – родители Лиды, лучшей подруги моей мамы. Эту подругу я так любил, что вечно обнимал ее и говорил ей: «Ты моя подруга, а я твой подружонок!»

Бабушка Наташа даже слегка ревновала. Мне очень нравилось гостить у Лиды. Лида постоянно готовила шарлотки. Они у нее возникали вообще из ничего. Вот она сидит, вроде ничего не делает – и вдруг – раз! – возникает шарлотка. Василий Иванович был бывший офицер-фронтовик. Громкий такой, чуть глуховатый и очень добрый. Он ногти стачивал пемзой. Я по его примеру тоже стал стачивать ногти пемзой, и бабушка меня чуть не убила.

Однажды Василий Иванович купил мне зеленый грузовик с поднимающимся кузовом. Помню даже его коробку, сероватого картона, без рисунка, открывающуюся сбоку. Запах краски восхитительный. Все новенькое. Я этот грузовик, разумеется, сразу же потерял на Днепре. В первый же час обладания. Василий

Иванович увидел, что я огорчился, и тотчас, в том же универмаге, купил мне точно такой же зеленый грузовик. Помню, его щедрость меня потрясла. Видимо, это было вообще первое проявление щедрости, с которым я столкнулся. Это было как чудо. Грузовик теряешь, и он возникает вновь. Впрочем, меня очень быстро начала мучить жадность, потому что я подумал, что если бы не потерял того первого грузовика, то у меня их было бы два!

В два с половиной года родители снова приехали и увезли меня, уже подрощенного, на Камчатку. На Камчатке, в Елизове, а потом в Петропавловске, я с некоторыми промежутками прожил до шести лет. Помню, что бабушка очень беспокоилась, часто писала, а родители хотя и отвечали ей, но все же письма были много короче, чем бабушкины. По телефону же звонили редко. Помню только один звонок, когда умерла бабушка Паша. Помню, когда мне об этом сказали, я испытал только удивление, хотя до этого мы с ней дружили, гуляли, даже были у нас общие секреты. Я прятался у бабы Паши, когда не хотел есть или ложиться спать. Баба Паша всегда принимала мою сторону, размахивала палкой и защищала меня, а бабушка Наташа выманивала меня из ее комнаты.

Камчатка запомнилась мне как ряд ярких, кратких моментов. Как нас с мамой сдувало ветром с горы, на которой стоял наш дом, и приходилось подниматься спиной вперед. Как во время зимних болезней я сидел дома один и, боясь тишины, бесконечно слушал пластинки. Когда пластинка заканчивалась, я пальцем перебрасывал иголку назад и слушал одну сторону много раз, а когда нужно было все же переворачивать, включал мычащий дневной рамкой телевизор. Как лизнул в детском саду качели и как к ним примерз язык. Но это уже другие истории, не относящиеся к бабушке.

С Камчатки мы перебрались в Москву, так что в первый класс я пошел уже в Москве. Чтобы переехать, пришлось поменять две квартиры: бабушкину двушку в самом центре Запорожья, на улице Лермонтова, и ту квартиру, которую родителям дали на Камчатке. Тогда квартирных агентств не существовало, и обмен между городами был очень труден. Папа вел дела через каких-то квартирных жучков, которые, маскируясь, звонили с уличных автоматов и произносили непонятные слова: квартиры назывались грибами или чем-то похожим. И получалось что-то ужасно смешное, вроде: «Два гнилых гриба на Щукинской с доплатой в пять ягодок». Это означало, что есть неважная двушка на «Щукинской», но хотят в доплату пять тысяч.

В результате двушку в Запорожье поменяли на однушку на

Ленинском проспекте, а камчатскую квартиру с доплатой – на двушку-хрущевку на Тухачевского.

Эта была неважная двушка, практически картонная. Родителям она не нравилась, и они стали уговаривать бабушку с ними съехаться. Бабушка сомневалась. Папу моего она не слишком любила, она вообще к мужчинам относилась задиристо, но по мне очень скучала. И она согласилась-таки на обмен, хотя раз пятьсот потом об этом пожалела.

В новой квартире-трешке нас с бабушкой поселили в одной комнате. У меня был диван у окна, у нее узкая кровать у самой двери, у шкафа. Я рос как-то хитро: между дружественным женским началом, которым я довольно быстро научился манипулировать, и недружественным мужским в лице папы, который требовал от меня вечных результатов, спортивных свершений, домашних дел, ответственности и других подобных вещей. Но при этом женское начало в лице бабушки отличалось постоянством, а мужское начало действовало наскоками и потому особенных успехов не имело.

Потом уже, когда сам стал отцом, я понял, как много папа тянул, достигал, добивался, делал для меня и для семьи. Он абсолютно себя не жалел, работая на износ. И еще понял, что он очень любил меня, но любовь была требовательной, мужской, всегда меня оценивающей и всегда мною слегка недовольной, потому что я многое, с его точки зрения, делал не так. «Не по уму», как говорил мой практичный папа.

Папа почти всегда был на работе. Вначале на локаторе, потом на военном заводе, делавшем какие-то платы, потом в Министерстве электронной промышленности. Единственными днями, когда папа бывал дома, были суббота и воскресенье. Для меня это были страшные дни. Страшные, потому что энергия у папы была как у атомного реактора. Сидеть на месте он не мог, газеты читал на лету, телевизор тоже не смотрел – просто не усидел бы на месте. Обычно в субботу он вставал в пять утра и начинал готовить. Готовил столько еды, что хватило бы на целый полк. Обычно это была картошка с мясом или бараньи ребрышки, но всегда в скороварке. Бабушка вечно ворчала, что еда жирная, но мы ели ее с удовольствием.

Часам к восьми папа вспоминал, что у него есть сын и что этот сын до сих пор в постели, в то время как пора убирать квартиру. До сих пор не понимаю, что можно убирать в трехкомнатной квартире так, чтобы жизнь показалась адом. Но надо было чистить все ковры, пылесосить, вытаскивать и выбивать коврики на улице. После уборки начинались лыжи, которые я люто ненавидел. У нас прямо у дома был

Тимирязевский лес, настолько близко, что лазейка в лес просматривалась из окна и можно было спускаться по лестнице прямо на лыжах, что я иногда и делал, в надежде поломать кончик лыжи о стену.

Если по какой-то причине срывались лыжи, например погода стояла теплая и снег таял, то их заменял бассейн: запах хлорки, шум, очки, сухость в носу, гудение фена. Бассейн, в отличие от лыж, я более-менее любил, но ненавидел подготовительный период – то есть переодевание, душ, поездку на автобусе. Мне жалко было на это времени, и я довольно быстро научился хитрить.

Весь расчет был на бесстрашие бабушки и на то, что папу она совершенно не боялась. Когда мне не хотелось идти в бассейн или на лыжах, я устраивал показушную истерику. Говорил, что у меня болит горло, голова, неважно что. Тут главное было случайно не назвать какую-нибудь печень, потому что бабушка немедленно стала бы лечить мне печень или таскать к специалистам. Но я, по счастью, вообще не знал, что бывает печень. Вполне хватало головы или горла.

Бабушка, помешанная на здоровье, моментально принимала мою сторону. «Митенька с утра был вялый!» – сразу вспоминала она и начинала наступать на папу. Невероятно, но наступала именно она, хотя была папе ростом по грудь. Я, конечно, моментально прятался за бабушку. Папа, чувствовавший мою хитрость, моментально багровел и терял самообладание. Бывший борец, весивший хорошо за сто килограммов, он хватал крошечную бабушку под локти, приподнимал ее, переносил в комнату и закрывал за ней дверь. Бабушка выскакивала из комнаты, как бойцовский петух, и бросалась на него. Он опять ее уносил, она опять кидалась на него – во второй, в третий раз, и все заканчивалось всегда победой бабушки.

Папа отшвыривал меня и уходил в бассейн один. Бабушка, которой победа давалась дорогой ценой, начинала во множестве глотать сердечные лекарства: она тогда уже часто жаловалась на сердце, а я почти каждую неделю доводил ее до приступов, не то чтобы специально, но всегда давая для этого поводы. Но почему-то мне тогда совершенно не было стыдно: я торжествовал победу.

Радостно забивался в угол бабушкиной кровати, под лампу, полностью выключался и утыкался в книгу. На стене висел ковер, и плечу всегда было тепло. Читал я много, хаотично, то, что мне больше нравилось. Часто читал одновременно три-четыре книги, пропускал пейзажи, диалоги, затянутые сцены, проглатывал по 300–400 страниц в день и зачитывался до того, что к вечеру голова гудела и я становился точно пьяный. Ночью я читал при

свете фонарика, откидывая на короткое время одеяло, чтобы отдышаться. Мама относилась к моему чтению одобрительно, она и сама в детстве много читала, открывая шкаф гвоздиком. Бабушка же очень волновалась.

Обычно она озабоченно говорила: «Зачитаешься! Девушка у нас одна была, ей все говорили: «Не читай!» А она читала, читала и зачиталась!» А еще предупреждала: «Глаза посадишь! Вот выйдешь на пенсию и читай себе! А сейчас учись!»

Примерно так же я и болел. Я знал, что при температуре 37,1 меня уже в школу не пошлют. Таким образом, важно было доказать, что у меня эти 37,1. И вот я сидел за завтраком и ничего не ел. Бабушка моментально это замечала, заявляла, что я бледный, и сразу начинала мерить температуру. Чаще всего, ерзая рукой, я ухитрялся намерить эти 37,1, особенно если бабушка ненадолго отлучалась и появлялась возможность быстро коснуться термометром батареи или сунуть его в чай. Тут даже выходил обычно перебор и приходилось стряхивать.

Папа обычно уходил уже к тому времени на работу, а мама раньше десяти никогда не вставала. В редакцию журнала можно было приходить после двенадцати. К тому же мама часто работала ночами. До самого утра я слушал через стенку стук печатной машинки, особенно перед сдачей номера в верстку. Мама обычно заканчивала все в самый последний момент, когда позже уже было некуда.

Мы с мамой очень дружили, но дружба была двойственная. С одной стороны, она была мама, то есть нечто непререкаемое, а с другой – все же больше старшая сестра, потому что мамой в том хрестоматийном плане, который обычно представляют в детских книжках и фильмах, была бабушка Наташа. Никогда не помню маму стирающей или у плиты. Возможно, это порой и случалось, но скорее как разовая жертва. Готовила обычно бабушка Наташа, а по выходным папа.

Я всегда ощущал, что у меня две мамы. Одна – бабушка Наташа – мама двойная, то есть она и мама моей мамы. От нее исходят еда, чистые носки, наглаженные рубашки, карманные деньги. На нее можно фыркать, с ней прокатывают фокусы.

И есть другая мама – мама-сестра. С ней фокусы не прокатывают, потому что с сестрами они вообще никогда не прокатывают. Эта мама-сестра притаскивает сумки книг, покупает игрушки и животных, часто ездит в командировки, и тогда ее неделями нет дома. Но, в целом, эта вторая мама – мама-праздник. Большинство радостей детства связано с ней.

Уроками моими мама не слишком интересовалась, в дневник заглядывала по настроению. Только после родительских собраний

часто рвала мои тетради в клочья и говорила с интонациями совершенно поэтическими: «Мой сын – посредственность! Я мать ничтожества! Лучше бы я была матерью двоечника! Тогда бы это было не так обидно!» Хотя я был вполне себе ровным хорошистом, а по гуманитарным предметам даже отличником. Однако в глазах мамы любая тройка в тетради или дневнике была как клеймо, как признак бездарности.

Помню, как после одного собрания во втором или третьем классе мама своими слабыми руками рвала тетрадь в обложке, а у нее никак не получалось. Не хватало сил. И она дергала ее, дергала, а обложка все тянулась, тянулась, но не рвалась, а снять ее мама почему-то не догадывалась.

Мама прекрасно знала цену всем моим дутым болезням, но к школе относилась, в целом, довольно небрежно. Убедившись, что я в очередной раз «заболел», мама отмечала мне в учебниках по двадцать-тридцать упражнений, просто по порядку, и я их делал, ухитряясь как-то сам разбираться в темах. И папа еще прибавлял примерно столько же заданий по математике. Поэтому после болезней всегда получалось, что я обогнал класс на целую четверть.

В многодетной семье, как я сейчас вижу, выжить ребенку проще. У родителей обычно нет ни времени, ни сил, чтобы плотно насесть на какого-нибудь конкретного ребенка и системно отравлять ему жизнь. Я же рос с тремя взрослыми, и у каждого я был единственным. У мамы и папы – единственный сын, а у бабушки Наташи – единственный внук, цель и смысл жизни. Я смутно ощущал, что я цель и смысл, но воспринимал это как должное и не помню, что я часто говорил бабушке, что ее люблю, хотя она в этом очень нуждалась. Я это порой почти физически ощущал, когда она, очень одинокая, стояла у окна и о чем-то думала. И лицо у нее было печальным. Но я если и говорил, что люблю, то только в какой-нибудь официальный день, вроде Восьмого марта или дня рождения, 14 сентября. Внутренней же благодарности не ощущал ни малейшей, а когда бабушка меня обнимала, терпеливо ждал, когда меня отпустят, чтобы можно было дальше жить и действовать по своей программе. Хотя все же, наверное, я ее иногда целовал, потому что помню запах и вкус ее кожи у глаз, где были множественные маленькие морщинки.

Каждый день я возвращался из школы как король. Форма небрежно летела на стул, а порой и мимо. Я знал, что она потом окажется на вешалке, а как окажется, это была великая, но не особенно волнующая меня тайна. Носки, трусы, майки – все это возникало словно по волшебству, и я бы очень удивился, если бы однажды не нашел их на обычном месте. Я шел на кухню, и там

меня всегда ждала бабушка с обедом – первое, второе и обязательно какой-нибудь коктейль с трубочкой на третье. Это был сладкий сироп, разведенный водой, обычно вишневый или шиповник – и вся его прелесть состояла в трубочке. Отсутствие трубочки я воспринимал как глубочайший непорядок, крушение мироустройства, вообще что-то ненормальное.

Другое крушение мироустройства приключалось, когда я возвращался из школы раньше. Например, кто-то из учителей заболел, и нас отпустили. Бабушка, ухитрившаяся увидеть меня еще в окно, приходила в ужас, что Митенька не будет вовремя накормлен. Ужас бабушки был всегда таким искренним, что я вел себя почти благородно. Великодушно прощал и ждал минут десять, пока бабушка, точно по волшебству, ускоряла обед. И опять, конечно, не обходилось без напитка с трубочкой – правильное завершение правильной трапезы.

Бабушка любила, когда все правильно. Любила графики, расписания, распорядки дня, советы физиологов и так далее. Они висели у нас повсюду, выписанные из журналов и книжек. Видимо, это осталось у бабушки со времени работы в лаборатории, где все происходило по жесткой схеме. «Правильный» и «здоровый» как-то совмещались у нее в одном понятии. Она постоянно делала вырезки из журнала «Здоровье» – сколько минут чистить зубы, как промывать водой нос, как закаляться, когда делать уроки и сколько отдыхать перед уроками. Я относился к этому насмешливо, нарушал все, что только возможно, уроки вообще делал в трамвае, чтобы не терять дома времени, но все равно какие-то крохи правильности в меня просачивались.

Переходный возраст я пережил в меру спокойно. Все-таки на меня одного было трое взрослых. Грозовой папа, умная мама меня поддавливали, и всплесков было не так уж и много, те же, что случались, обрушивались в основном на бабушку. Дети, да и, наверное, люди в целом – порядочные пройдохи. Они всегда чувствуют иерархию, на кого могут кричать и кто может кричать на них. И почему-то срываются всегда на тех, кто их больше любит, потому что остальные таких фокусов им попросту не позволят. Я очень быстро разобрался, что на бабушку кричать можно, что ее любовь все покроет – и нередко срывался, оберегая свое не такое уж и личное пространство.

Квартира, как я уже писал, была трешка. В одной комнате жили родители, другая условно именовалась «зал». Там обычно ставили новогоднюю елку, смотрели телевизор или принимали гостей. И третья комната была моя и бабушки. До четырнадцати лет я терпел бабушку с собой в комнате, потом стал ее выживать.

Бабушка воспринимала это болезненно. Она вообще, кажется, не понимала, что я расту. Ей было важно быть всегда со мной. Я же считал иначе и абсолютно бесцеремонно вытуривал бабушку в зал, пока мне окончательно это не удалось.

Примерно в тот же период, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, бабушке отняли грудь. Рак. Это пронеслось как-то мгновенно, месяца за три. Больницы, операции. Потом всем показалось, что болезнь ушла. Четыре года бабушка прожила бодро и стремительно – так же, как жила всегда. Смотрела телевизор, слушала радио, готовила, волновалась за меня.

Сейчас – уже постфактум – я вижу, что запас любопытства, энергии и жизни у бабушки был огромен. Она, по сути, никогда не была старой. Старость – это когда смотришь не вперед, а назад. Когда видишь какого-то случайного человека и спохватываешься вдруг, что он принадлежит к другому поколению. Те, кому сорок, всматриваются в тех, кому двадцать или тридцать. Пятидесятилетние оглядываются на сорокалетних – и взгляд их ненастойчив, быстр, скользящ, но… ревнив. У бабушки Наташи этого взгляда никогда не было. Она была легка, стремительна, радостна. И старела она также без ощущения старости, без взгляда с высоты эскалатора на тех, кто едет ниже. Активно и насыщенно живущий человек редко замечает свое тело, как у бегуна нет времени разглядывать свои ноги, пока он находится в движении.

Внешне все было как прежде. Разве что бабушка чаще задумывалась и, помню, сердилась и смущалась, когда вставляла в лифчик вату или когда ей надо было рукой все это поправлять. Хотя это происходило всегда незаметно, и я только дважды или трижды, неожиданно входя в комнату, становился свидетелем того, как это происходит. И еще, помню, бабушка несколько раз говорила, что жизнь пронеслась как одно мгновение, а она ничего и не заметила. И что только вначале время идет медленно, а потом все быстрее, так, что месяцы проскакивают как дни. Я тогда ее не понимал. Неделя казалась мне каким-то бесконечным, тягучим периодом, который становился тем счастливее, чем ближе было до выходных.

А через четыре года болезнь вернулась. Это случилось как-то вдруг, и как-то сразу стало понятно, что это уже все, насовсем. Уже зная, что заболела, в последний какой-то активный пик, бабушка неожиданно вздумала позащищать Ельцина, и я пошел с ней, потому что одну ее отпускать было уже страшно. Это был август 1991 года. Все казалось мне ужасно нелепым. Мы долго шли вместе с толпой, а вокруг все было разрушено, разбито или сожжено. Потом стояли и ждали. И все вокруг тоже ждали,

взволнованно переговариваясь. На всех крышах, а их вокруг было много, кучковались снайперы. Неожиданно на балконе, со всех сторон занавешенный бронежилетами охранников, которые они держали в руках, как щиты, возник какой-то одутловатый человек, у которого был виден только нос и часть головы. Внизу, под балконом, бегали люди с повязками общественников и кричали:

– Защитим! Защитим! Живая цепь!

И все, взявшись в руки, выстраивались в цепи. Получилось, наверное, пять или шесть цепей. Подозреваю, что смысл цепи состоял в том, что человек, стоящий в цепи, не имел возможности выхватить спрятанный пистолет и каким-то невероятным чудом попасть в говорящий нос. И мы с бабушкой тоже держались за руки, а нос выглядывал из-за щитов и что-то вещал. Слов было не разобрать, потому что рупор все дробил, но толпа всякий раз очень оживлялась, подхватывая какое-нибудь слово. И бабушка была ужасно торжественная и радостная.

Мне это запомнилось, наверное, потому, что это был какой-то более-менее яркий поступок, а одновременно и последний выход бабушки в свет. Потом начались страшные полгода болезни, когда бабушка выходила из дома все реже, а потом и совсем уже не выходила из своей комнаты. Вторую операцию делать не стали, было уже поздно. Наконец бабушка уже просто сидела на кровати, потому что лежать ей было больно, и не могла она, всегда подвижная и сильная, сутками лежать. Лечили ее как-то ужасно нелепо, какими-то чудо-грибами и даже мочой невинных мальчиков, которую бабушка категорически отказывалась пить, а мамины подруги сердились и уговаривали ее, разумеется, из лучших побуждений, потому что все это знахарство было записано у них в самиздатовских книжечках со ссылками на множество примеров исцелений.

Я заходил к бабушке, и заходил часто. Я чувствовал, что бабушка скоро умрет и что нужно как-то запомнить ее или сказать ей что-то утешающее, но что, я не знал и говорил обычно что-то очень дежурное. Обычно спрашивал, не нужно ли чего.

Наступил март, стало совсем тяжело, и родители решили положить бабушку в больницу. Помню, как бабушку Наташу сносили по лестнице в брезентовых носилках. Несли санитары, папа, еще двое соседей и я. Всего шестеро. Не понимаю, зачем бабушку, которая весила от силы килограммов шестьдесят, нужно было нести такой толпой, но несли именно толпой, и в том, как несли, было что-то испуганное, суетливое. Сносили ее очень торопливо, почти воровато, будто те, кто нес, участвовали в групповом преступлении, следы которого нужно поскорее

замести. Бабушка была в коричневом пальто с меховым воротником – она много лет в нем ходила. И в меховой шапке, тоже своей обычной. И эта обычность одежды казалась ужасно нелепой, но вместе с тем где-то и обнадеживающей, потому что раз бабушка выходила в привычной одежде из дома, то все как бы было хорошо.

Помню, бабушка была серьезна и как-то по-особенному спокойна, хотя понимала, думаю, что все в последний раз. И коридор, и комната, и подъезд, и эти ступени с четвертого этажа до первого, по которым она столько раз спускалась и поднималась. Хотя открыто бабушке едва ли говорили, что она сюда не вернется. И медицина, и родные в эти минуты всегда участвуют в общем фарсе, всегда отрицая приближение смерти и играя в скорое выздоровление до самого момента агонии.

Потом, года через два, я так же, как бабушку, помогал сносить на носилках нашего пожилого соседа, бывшего печатника и неутомимого коллекционера книг, очень дружившего с бабушкой. И тоже его несли в больницу умирать. Помню, он плакал и, пытаясь остаться дома, хватал нас за руки, а все притворялись, что ничего не замечают, и тащили его в «Скорую помощь». Бабушка же не плакала. Она была очень мужественной, причем мужество у нее было простое, без героических вывертов, на которое способны женщины и редко когда способны мужчины.

В больнице бабушка провела не больше недели. Помню, в предпоследний день, 20 марта, я зашел к ней по дороге в спортзал. Я тогда занимался уже много и охотно. Папины бассейны и ежегодные секции, которые я успешно бросал месяца через три, наконец дали всходы. У меня была с собой форма в пакете, и мне это было неудобно, потому что получалось, что я захожу по пути, просто заскакиваю. Я нашел дверь в корпус, не главную, а какую-то запасную, возле которой курили санитары, и поднялся по лестнице. Никакой охраны, никаких записей в тетрадь, вообще никаких бутафорских сложностей тогда не было. Если же и были, то никто этого не соблюдал. Можно было приходить в любое время.

На третьем этаже я нашел палату, потоптался и, толкнув дверь, вошел. Никто не говорил, что это палата для умирающих. Она была точно такой же, как все палаты на этом этаже больницы. Какая-то ступенечка, такой же резиновый, неприятный запах стерильных растворов, которыми пропитаны все больницы. Но стоило оказаться внутри, и ты сразу понимал, что это за палата. Кажется, там было шесть кроватей, но заняты только четыре. На одной лежал какой-то неподвижный, серый, почти уже и вовсе неживой человек. На другой беспокойно покачивалась

нестарая женщина. Вроде бы пыталась встать, но не вставала, а только качалась-качалась-качалась.

Бабушка была на средней кровати справа. Какая-то свежая, умытая, точно случайно тут оказавшаяся. Лицо у нее было светлое, спокойное, совсем не такое страшное, как у этих людей вокруг. Мелькнула мысль, что, может, ее правда сейчас подлечат и отпустят. Говорили о чем-то незначительном.

«Как ты?» – «Хорошо». – «Как учеба?» – «Нормально. А как ты себя чувствуешь?» – «Ничего». Помню, мне было неуютно. Хотелось поскорее уйти, но я чувствовал, что уходить нельзя, что нужно как-то втиснуть в себя этот момент. Но только момент как-то не втискивался. Не помню, чтобы я испытывал какое-то сострадание. Я ощущал себя жестким, как деревяшка.

Я больше стоял не у бабушкиной кровати, а у окна. На подоконнике были традесканция, плющ, фиалки, камнеломки, и мне хотелось отщипнуть черенки, но не из этой же палаты. Из этой нельзя. Я тогда повсюду таскал черенки и развел дома такой сад, что горшки стояли в три ряда. И виден был в окно скучный асфальтовый двор и козырек крыльца краснокирпичного морга, примыкавшего прямо к лесу. Я часто ходил мимо этого морга, потому что с той стороны аллея вела на платформу «Гражданская», и мне омерзительна была блестящая новая труба его вытяжки, в которой всегда гудел вентилятор.

Наверное, я пробыл в палате не больше десяти минут. Бабушка все так же легко и просто смотрела на меня и спрашивала о чем-то неинтересном. Потом сказала:

– Ты, наверное, спешишь?

Я сразу ухватился за это и действительно стал спешить. Скомканно попрощался, поцеловал, обещал зайти завтра. Потом отправился в спортивный зал, вернулся, лег спать, а на другое утро, уже около восьми, позвонил телефон. Мама подошла, и, хотя самого разговора я не слышал, понял, что это из больницы.

Бабушка умерла на рассвете. Говорили, что во сне.

Случилось это 21 марта, а 27 марта мне исполнилось 18 лет. Я тогда учился уже на первом курсе филфака. В этом коротком, всего в шесть дней, промежутке я всегда чувствовал неслучайность. Бабушка довела меня до взрослой жизни, дотянула почти до самого рубежа, и уже у самой черты оставила. И я всегда чувствовал, что своей любовью она влилась в меня вся, до последней капли.

Потом было отпевание в церкви, когда бабушка, казавшаяся совсем маленькой, неузнаваемой и чужой, лежала в гробу. Тогда же в церковной лавке я, сам не знаю зачем – просто по движению души, – купил себе железный крестик и носил его потом всегда.

Похороны и поминки были нелепы. Домодедовское кладбище раскисло, хоронили в воду. Глина, лужи, ветер. Железная каталка с гробом. На поминках абсолютно чужие люди, вроде мужа маминой начальницы, многословно говорили, как они любили и уважали Наталью Степановну, а я нарочито громко стучал вилкой по тарелке, потому что чувствовал ложь и фальшь.

Память как фотоаппарат. Она фиксирует события, даже те, которым ты на данном этапе жизни не можешь дать никакого истолкования. Может, не дорос еще. Фиксирует впрок. Просто снимает и складывает в папку, чтобы открыть эту папку, когда ты будешь готов.

У меня эта папка открылась уже где-то после двадцати лет, когда стало понемногу пробуждаться сердце. Тогда же возникло острое чувство стыда. Я вспоминал, сколько раз обижал бабушку и как редко просил у нее прощения, как мало вообще давал ей внимания и любви.

Благодарность – сложное чувство. Может быть, самое сложное из всех существующих. В детстве ты пожираешь заботу и любовь огромной ложкой, а отдаешь лишь редкие капли, которые с этой ложки случайно срываются. Но потом приходит время, и тебе становится запоздало стыдно. Видимо, в том и смысл, что то, что ты забираешь у родителей, ты, накапливая, отдаешь потом своим детям.

Потом, уже много позже, я разобрался, что тот мой эгоизм был эгоизм кристальный, не ощущающий себя эгоизмом. Я брал все, что мне дают, как должное, принимая добровольные дары за оброк. Мое поведение было криком подрощенного вороненка, возмущенно каркающего на мать, которая забыла положить ему в рот червяка. Однажды я видел в лесу такого вороненка, размером со взрослую ворону и уже летающего. Он ужасно скандалил, не желая начинать самостоятельную жизнь, и все прыгал за матерью по траве, разевал клюв и орал, а она от него удирала и садилась на нижние ветки елок.

Но все равно тяжело, очень тяжело и стыдно вспоминать об этом.

Хотя бабушка и спряталась под проваливающимся холмиком кладбища, который мы каждую весну упорно досыпали, я всегда на нее мысленно оглядывался. Сравнивал свою судьбу с ее судьбой и делал то, что, возможно, она одобрила бы. Например, бабушка, у которой было много братьев и сестер, мечтала, чтобы и внуков у нее было хотя бы двое. Она и сама хотела бы иметь много детей, да вот, не сложилось… Временами она заговаривала об этом с мамой, но мама обычно отвечала, что ей достаточно одного. Я же тут пошел по стопам бабушки и выполнил то, о чем

она меня однажды просила, – назвал свою дочь Наташей. А то, что перед дочерью родился мальчик и ради выполнения обещания пришлось продолжать, заложило фундамент будущей многодетности, потому что оказалось, что дети – это здорово.

Есть и много других посаженных бабушкой семян, которые временами всходят во мне. А раз так, то, может, все так и должно быть. Прости меня, бабушка! Хоть запоздало, но прости!